

УБИТЬ – НЕ УБИТЬ...

(РАССКАЗ)

*И только солнце останется
не забрызганное кровью... и
конь ускачет без седока...*

Предсказание цыганки

Выводя самолет из зоны активного зенитного огня, летчик глянул вниз, чтобы удостовериться, насколько успел он удалиться от обстрела, – внизу космато расстилался густой буро-зеленый лес, который будто бы кренился на бок вместе с машиной, входящей в вираж, и постепенно опрокидывался, грозя свалиться в некую бездну. В следующую минуту истребитель выправился в полете, и лес разом вернулся на свое место, слился с дымящимся горизонтом. Мир обрел привычные контуры. Летчик едва перевел дух, но в то же мгновение перед ним возникло нечто – настолько внезапное, что пилот не успел осознать, что это! – какая-то бесформенная масса тяжело врезалась в истребитель живым плотным телом. Самолет резко трянуло от удара, и на долю секунды пилот потерял всякую видимость...

То была огромная стая ошалело несущихся и словно ослепших птиц...

Летчик облился горячим потом. Едва удерживая машину, чтобы не свалиться в штопор, он судорожно передернулся в отвращении от кровавого месива, размазанного по стеклам кабины.

Птицы намного раньше положенного срока покидали эти края, не дожидаясь осени. Они улетали в самый разгар лета, стаями и врозь, ночью и днем, улетали, бросая гнезда с ненасиженными яйцами, улетали от беспомощно вскрикивающих, с вытянутыми шеями, птенцов. Последними исчезли болотные совы, перестав ухать по ночам...

Разбегалось зверье...

И повсюду горели окутанные на многие версты едким клубящимся дымом лесные чащи, рушился по опушкам вековой лес. И содрогалась земля, извергаясь в сплошных взрывах, вскипающих от шквальных артобстрелов, от ударов мин, взметалась от несущихся с неба бомб, выворачивалась от танковых штурмов и встречавшего их огня... Растерзанные взрывами ручьи растекались вкривь и вкось, выплескиваясь из берегов, исподволь заполняя низины и овраги. Один из танков, будто в укор самому себе за содеянное зло, навечно завалился в глубокий ров с водой, задрал пушечное дуло прямо в небо...

Все это с неотвратимостью повторялось изо дня в день и не могло быть остановлено по той причине, что на данном рубеже, выражаясь военным языком, шла война фронтов. Фронт на фронт. И каждая сторона была одержима стремлением сломить оборону противника и развернуть решительное наступление.

Пока это не удавалось ни тем, ни другим. И тянулась изо дня в день, изо дня в день, то затихая, то снова набирая смертельную силу, позиционная война...

А время шло своим чередом. И почти до самой осени на этом пространстве, именуемом театром военных действий, не смолкали орудия, днем и ночью, в дождь и в вёдро... Птицы тем летом так и не вернулись к своим гнездовьям, истерзанные травы так и не отцвели.

Штабы обоих фронтов спешно разрабатывали новые оперативные планы, докладывали ставкам о предстоящих операциях, сообщали данные о потерях, настаивая на необходимости наращивания ударного потенциала. И те, и другие, словно в один голос, просили у своих Верховных Вождей еще и еще резервов в живой силе, требовали дополнительной техники и боеприпасов. Одни были одержимы идеей завоевания новых жизненных пространств, другие озабочены защитой своих территорий, – и в том, и в другом случае резервы шли в дело, но силы убывали в боях, и снова подтягивались резервы...

Искромсанное войною лето между тем уже склонилось к сентябрю, и для каждой из воюющих сторон наступил последний срок готовности, последний предел, за которым грянет наступление, и тогда хлынет в прорыв неудержимая лавина...

На это, ужасающее своей кровавостью действо, когда из всего сущего разве что солнцу суждено было не омыться кровью, в покинутые птицами края сгоняло время людей, быть может, и родившихся на свет именно для этого рокового дня.

Сами они того не ведали, следуя в воинском эшелоне из Саратова, из жаркой, прижавшейся к волжской воде Предазии. Люди в эшелоне знали, что едут на фронт, но на какой именно участок какого фронта – об этом им не говорили, об этом могло знать только высшее командование. Солдатское дело идти, куда погонят... Поговаривали только, что пока движутся в направлении Москвы.

Отъезжали из Саратова на склоне дня, а через ночь душного пути, после осточертевших за лето, повыжженных зноем приволжских степей пошли мелькать по сторонам, то вблизи, то на отлете железной дороги, зеленые рощи, убегающие к хвойным лесам – любо было глядеть на них, словно писанных на старинных картинах. И даже сентябрьской прохладой заметно повеяло в раскрытые двери теплушек, набитых солдатами да их оружием. А вскоре леса подступили вплотную.

– Глянь, какие леса! Россия пошла, Россия-матушка! – переговаривались солдаты, будто сами были не из России, а из каких-то иных, дальних пределов.

Среди прочих ехал в эшелоне и совсем молоденький, с виду худой и долговязый – солдатская форма обвисла на нем, как одёжа с отцова плеча! – Сергей Воронцов или как прозвали его во взводе – Сергей, инок. Однажды, к слову, помянул парень Бога, порассуждал: мол, Бог не икона, а явление, но толкований его про то, что такое явление, никто не понял, а зубоскалы принялись насмешливо величать парня по-церковному – Сергием да иноком. Отчего же солдатам, изнывающим от дорожной тоски, безделья и полного неведения о завтрашнем дне, не посмеяться над девятнадцатилетним «умником», тем более что он и не обижался. Сергей часами стоял, опираясь о косяк вагонных дверей. Его спутники перебрасывались в картишки, кто-то распивал значенную после вчерашних проводов выпивку, велись бестолковые разговоры, отчего галдеж стоял невыносимый, иные еще и песни затевали, а его, Сергея, все тянуло к дверному проему – поглядеть на новые места, на проносящиеся мимо леса и полустанки. Он по-мальчишески во все глаза всматривался в эту исконно российскую сторону, которую видел впервые: раньше-то он мечтал по окончании школы попасть на учебу в Москву, но теперь все это отпало, поезд мчал его на войну. Жизнь в эшелоне шла своим чередом: на станциях солдаты выбегали с жестяными чайниками за кипятком, эшелон отправлялся дальше, они заваривали чай,

доедали солдатские пайки, снова толковали о своем, радуясь дорожным переменам и новизне впечатлений после изрядно надоевшей трехмесячной муштры в армейском лагере над Волгой. И всякий раз, завидев нечто необыкновенное, невиданное, – подчас, для других, бывалых, вовсе и не занятное – дергал Сергей кого-нибудь за рукав: погляди, мол! А там какие-нибудь обыкновенные срубы в деревеньке, прильнувшей к дорожному полотну, озерцо укромное в камышах, какой-то чудак почему-то верхом на корове – вот это да, вот это кавалерист! – а то – высоченная труба посреди чистого поля в стороне от завода с горящим нефтяным факелом наверху. Сергей все это объяснял, растолковывал, что факел в небе горит сам для себя, для сброса лишнего газа; у них, у отца на нефтепромысле, тоже была такая же труба с факелом. В темную зимнюю ночь, в снегопад, это очень красиво – снежинки кружат, а в небе – живой огонь. На Новый год, бывало, с матерью, с сестрами любовались факелом, по снегу шли, взявшись за руки. А когда возвращались домой, тепло, светло было в доме, стихи читали, мать пирожками угощала, отец, работавший бухгалтером, – всегда строгий – и тот веселился. Чудак этот Сергей, что он понимает, посмеивались иные: вспомнил, мол, стишки, пирожки... И это ему-то, иноку, на фронт!

По одной узловой станции состав шел медленно, было уже сумеречно. Сергей привлек общее внимание к сгоревшему под бомбежкой составу, оттащенному на запасные пути – изувеченный паровоз, разбитые вагоны. Никто не обмолвился словом, но, конечно же, каждый представил, как налетали фашистские самолеты, как под бомбежкой загорелся поезд, что происходило в этих вагонах... Скольких побило, сколько сгорели, но кто-то же, наверно, успел выпрыгнуть, отбежать, отползти, спастись... То была первая столь реальная метка войны, представшая взору. Тихо, как на кладбище, повстречались и бесшумно разминулись в сумерках составы. Люди все больше молчали, задумчиво дымя махорочными сигарками.

А на другой день весь вагон веселился, хохоча над иноком Сергием. Парень снова дернул кого-то за рукав:

– Посмотри! Колодцы какие здесь! Вон, видишь, колодец под козырьком, как крыльцо резное-расписное! Красота!

На что услышал ехидную отповедь:

– А ты не на резное-расписное смотри, мужик! На войну едешь! Ты на деваху смотри, вон, которая берет воду из колодца. Ишь, загорелая, в майке, и сама-то крепкая! А задок! А ты мне – колодец! Эх, инок, прыгнул бы сейчас вместо тебя, да в дезертиры запишут!

Смеху-то было.

К нему так и относились – олух, инок, юнец зеленый – не туда смотрит, не то видит. Вроде, и ростом Бог не обидел, и в плечах, присмотреться, не такой уж щуплый, и не глупый, кажется, парень, но, и то правда, во многом Сергей оставался еще застенчивым и даже странноватым подростком. Он и сам подчас не без горечи размышлял об этом, поглядывая на сверстников, на зависть быстро преодолевших угловатость, не говоря уж о тех, кто обо всем другом – об отношениях с женщинами – представление имел. А он-то! Приключилась, было, одна история с намеком на любовь и так как-то нелепо кончилась.

Вот, опять же, вчера на вокзале, при посадке на поезд, случай произошел странный, может, смешной, а может, и нет... Случай этот из головы не выходил всю дорогу.

Отправку их части объявили неожиданно, подняв по тревоге рано утром. Кто знает, отчего вдруг так срочно скомандовали сбор, но война есть война, у нее свои планы и решения. Вскоре выступили они из пригородного лагеря, рота за ротой, и двинулись по окраинным улицам Саратова в направлении станции... В колонне было немало здешних, саратовских. Проходя по улицам,

иные из них шли мимо своих окон в общежитиях и домах, мимо фабрик, где недавно еще работали. Как тут сдержаться. Никто, конечно, не помышлял выбегать из строя, такого командир не позволили бы, но солдаты начали кричать на ходу в раскрытые по-летнему окна, прощаясь с родными. Некоторые из солдат-саратовцев, чьи дома не стояли на ближних улицах, окликали прохожих, просили передавать приветы близким. Как водится, набежала детвора: «Солдаты идут! Красноармейцы идут на войну!» А тут еще женщины – матери, жены, сестры! И все увязались за колонной, кто в чем успел выскочить – какая бежала в тапочках на босу ногу, другая и вовсе босиком, вприпрыжку, кто подался с мокрым полотенцем на недомытой голове, кто в драной – для дворовой возни – юбке. Бежали они с плачем вдоль шагавшего строя, некоторые успевали сунуть свертки с нехитрой, схваченной со стола снедью, иные успевали всучить бутылку, обернутую газетой. Женщины кричали, каждая свое, напутствуя мужей, сыновей, братьев, соседей, знакомых по работе, уходящих на войну, препоручая всех до единого самому Господу Богу, и все до единого были для них в тот час одинаково родными, кровными; бежали, крича наперебой и желая всем поскорее возвращаться с победой домой, на Волгу, в родную сторонку, а одна, горемычная кликуша, плакала да выкрикивала все: «Сталину слава! Сталину слава!» Потом, уже ближе к станции, словно спохватившись, пуще прежнего запричитали бабы перед разлукой, вспомнили о беде своей, о судьбе, ибо было им отчего убиваться, расставаясь, быть может, навсегда с уходящими на фронт, ибо страшно было подумать, что теперь вся их жизнь становилась, может быть, жертвоприношением войне с вытекающей отсюда неизбежной, горькой вдовьей участью до скончания века...

– А ну-ка, женщины, не кричать! Не мешать движению! Разойдись!

Но никакие увещевания и строгие окрики командиров не действовали на них. Так они и шли – солдаты в строю, а рядом поспешавшие женщины и дети – по кривым прибрежным саратовским улицам, то на подъем, то вниз по спуску. И сворачивали, уходя все дальше и дальше от Волги...

Не думал Сергей, что таким тяжелым будет расставание, и впервые это было прощание на миру. Душа истерзалась, хотя, как и другие, шагавшие рядом солдаты, он бодрился, улыбался всем, с кем встречался глазами, рукой махал: ничего, мол, всё выдюжим. На самом деле он очень переживал еще и потому, что не удалось попрощаться со своими. Родители его уже были престарелыми людьми, он у них самым младшим родился. Одна сестра, старшая, жила в Казахстане, где-то на границе с Китаем, на пограничной заставе. Вторая, Вероника, здесь же, в Саратове. Муж ее был на фронте, а только – жив или нет – вестей давно не было, а у нее ребенок: сама на работу, а малыша оставляла как-то сразу постаревшей матери для присмотра. Отец же, Воронцов Николай Иванович, всю жизнь проработавший на волжских нефтепромыслах конторщиком, в ту пору лежал в больнице, давно болел. Обо всем этом написала Вероника в их пригородный лагерь, на полевую почту воинской части, где днем и ночью обучали их воинскому делу. Посещения родным не разрешались, так что только в письмах пересказывала Вероника про все их испытания. Он любил сестру, беспокойную, обо всех заботившуюся, открытую, был благодарен ей за письма, но на последнее так и не ответил, да и не знал, что отвечать: очень смутило его последнее письмо.

Вероника писала про Наталью, его бывшую одноклассницу, которую в школе дразнили «коминтерновкой». Прозвище это Наташка получила потому, что однажды, когда учились они в седьмом классе, сочинила стихи о Коминтерне, о том, как в Испании сражались коминтерновские бригады за счастье рабочих и крестьян всех стран. Наташка послала стихи в Москву, а оттуда ей прибыло письмо с благодарностью, и это стало событием в школе. Загордившаяся одно-

классница всем показывала письмо, его постоянно перечитывали. Наташку-коминтерновку, шустрю и бойкую, выдвинули в активистки, теперь она выступала на всех собраниях, возглавляла все школьные мероприятия. Как-то, в конце последней предвоенной весны, Сергей танцевал с ней на школьном вечере. Он почти никогда не танцевал прежде, смущаясь своей угловатости. Но она сама потащила парня в круг. Сергей, помнится, торчал у окна, глядя на вальсирующие пары, когда она подскочила, вдруг оставив своего напарника, и уверенно взяла Сергея под руку: «Пошли, Сережа, больше всех с тобой хочу потанцевать!» Он повиновался ей, как пионер повинется вожатой, хотя девушка была ему всего лишь до плеча. Зато решительности в ней было хоть отбавляй. Сергея, будто он этого только и ждал, в жар бросило. И они вбежали в танцующую толпу.

Неведомые дотолпе ощущения испытывал парень: кругом шла голова, от разгоряченных, кружившихся вокруг них пар исходил незримый огонь, распалая плоть и сбивая дыхание. Было так сладко и желанно отдаваться этому охватывающему всех вихрю страсти, и в то же время хотелось убежать из толпы, взлететь в небо с Наташкой, чтобы никого вокруг, чтобы никому не видно их с Наташкой, а им лететь, лететь все выше и выше, и чтобы все сильнее он прижимал ее к себе! А Наташка-коминтерновка так здорово кружилась, она была как резина – и упруга, и податлива, и он поражался тому, что скрывавшая поначалу неловкость отпустила его, и возникло ощущение особой близости, так быстро нараставшей между ними – невозможно было унять колотившееся сердце! Однако лица ее, пылавшего рядом, когда так явственно ощущалось разгоряченное дыхание девушки, лица ее он почти не различал и от волнения не понимал, что с ним происходит, и только когда она вдруг сказала: «Я знаю, Сережка, ты меня любишь, ты мечтаешь обо мне!» – он увидел ее дерзко смеющиеся глаза и разглядел откровенно приблизившееся лицо.

Сергей вдруг сильно смутился – так неожиданно это произошло, и хорошо еще, не сбился, продолжал кружиться. Хотел ответить, сказать что-нибудь такое легкое, незначущее, уличное, как это запросто получается у других ребят, но он так не умел... Наверно, хотел сказать, что не задумывался, любит ли ее, но она ему нравится, даже очень нравится. Однако Наташка, как знала, опередила парня: «Не отвечай, Сережа, не отвечай, не старайся! Я пошутила, – заговорила она, кружась и покачивая в такт музыке головой, – но, понимаешь, я же вижу тебя насквозь. – Наташка приостановилась на краю круга, чтобы слышнее были слова. – Я всех вижу насквозь, кто о чем думает, – продолжала она. – В райкоме мне говорят, что я прозорливая комсомолка-пропагандистка. И тебя вижу. Ты любишь меня и скоро мне об этом скажешь! Ты ведь у нас всегда такой. Не как другие. Тугодум. Ой, тугодум! Пока ты соберешься! Я все знаю. Ты ведь с девчонками еще никогда ничего!.. Так ведь? – Наташка говорила торопливо, словно боясь, что Сергей перебьет ее. – Да ясное дело! Ну не скрывай! Я же вижу по глазам! Я все знаю. Скоро на тебя будут все вешаться! А ты смотри у меня! Я первая! – Они снова двинулись в танце. Наташка не умолкала. – Будем всюду вместе ходить, – тараторила она. – Я буду выступать на собраниях, а ты будешь записывать для газеты, журналистом станешь. Ты хорошо пишешь, я знаю. Понимаешь, я боевая, я здорово речи толкаю, а ты, зато, умник, а мне как раз такой и нужен. Соображаешь?»

Вот такой разговор происходил, то ли в шутку, то ли всерьез, и стоило ли потом размышлять о случившемся или надо было все это напрочь забыть, но в ту ночь Сергей не уснул, промаялся до самого утра. Он даже собрался и написал ей письмо, но потом порвал его.

Только спустя несколько дней Сергей поостыл. Потом кончилась школа, он собирался поступать в пединститут, а тут грянула война. Они с Наташкой и виделись-то всего пару раз мимоходом в те суматошные дни. Сергей, конечно,

ждал, что они вернуться к разговору, возникшему на танцах. Но сам не решался, надеясь на девушку, а теперь стало, кажется, не до того. Когда пришла повестка, Сергей не удержался, пошел к многоэтажке, где она жила, ждал, раздираемый сомнениями, томясь, волнуясь, – и дождался. Все получилось как-то не так. Горел костер, да вовремя сухих веток не подбросили. Сергей сказал Наташке, что его призывают в армию и он пришел попрощаться. Наташка восприняла это совершенно спокойно, сказала, что ж, теперь всех берут на фронт – мобилизация, пожаловалась, что торопится, у нее много дел, но пообещала написать. Пусть только прилетит поскорее адрес полевой почты. Сергей обрадовался, будто за тем и шел, чтобы условиться о переписке. Потому что в письме, думал он, можно сказать гораздо больше, чем с глазу на глаз. В письме можно написать то, что не хватает духу сказать. Однако на свои письма, а он отправил их три подряд, ответа от Наташки так и не получил. И теперь вот, когда уже потерял надежду что-либо услышать о девушке, сестра Вероника – и откуда она узнала, что это важно Сергею? – написала, что Наташка-коминтерновка выходит замуж. Знающие люди утверждали, что за человека намного старше ее, у которого год назад умерла жена и который имеет бронь от призыва на фронт. И далее Вероника писала: «Сережа, милый братец, не смей переживать из-за этого. Я же знаю тебя, ты начитался разных романов и на все смотришь книжными глазами. Понимаешь, вы с ней очень разные, вы совсем не пара. Поверь мне. И только бы вернулся ты домой живой и здоровый, только бы быстрее кончилась война, а то, что ты будешь счастливым и что какая-то из девушек будет счастлива с тобой, я в это верю, Сережа! Не переживай, братец дорогой. И поскорее возвращайся к нам, домой... Скорей бы кончилась война, скорей бы...» Вот такое письмо.

По правде говоря, ничего ведь у них с Наташкой-коминтерновкой и не было, а по теперешним событиям ушло все оно в прошлое, как позабытый сон.

Теперь Сергей уходил из города детства походным маршем, провожаемый, как и его нынешние товарищи, этими сбивающимися с ног женщинами и детьми. Жалел только, что не было среди них родителей да сестры Вероники, которая, знай она об их срочной отправке на фронт, примчалась бы во что бы то ни стало повидаться напоследок.

Во все времена говорят люди про то, что мир, мол, не без чудес. Кто знает, может, и чудом обернется то, что случилось с ним в день отправки. Их уже начали рассаживать по вагонам. Еще раньше заметил Сергей в женской толпе цыганку. Откуда она взялась? Впрочем, в летнюю пору в Саратове всегда бывало полно цыган. Она сразу бросалась в глаза – смуглой ли кожей лица, медными ли, широко раскачивающимися серьгами, яркой, хоть и изодранной шалью или пестрой, почти до земли длинной юбкой? Ну, цыганка – она и есть цыганка! Привлеченная, должно быть, людским многолюдьем и гамом, она тоже поспешала сбоку колонны, что-то выкрикивала, жестикулировала и, казалось, кого-то высматривала в строю. Солдаты в ответ недоуменно перемигивались, подталкивали друг друга под бок: глянь, мол, не тебя ли выискивает цыганка. А один из идущих в колонне даже сам объявился:

– Эй, цыганочка, эй, бедовая, я здесь! Слышишь? Ты же меня ищешь погадать?

И очень был удивлен, услышав в ответ, что когда-нибудь она погадает ему, а сейчас сама найдет того, кто ей нужен. К удивлению похотывавших солдат, она вдруг обратилась к Сергею:

– Слушай, парень! Слушай, молоденький, эй ты чернобровый, выйди на край, дай руку, я тебе погадаю на дорогу, поворожу на счастье!

Сергей шел в шеренге, третьим с краю. Но дело было не в том, где он шел, не в том, что нарушать строй не полагалось. Никогда ему не гадали-не ворожили,

и в семье все, кроме матери, к разного рода гаданьям да приметам относились без иронии...

– Не надо! Я не хочу! – как-то по-детски, но громко, отвечал он цыганке, смущенно улыбаясь и пожимая плечами. Ему хотелось извиниться перед ней, но как и за что, Сергей не знал. Солдаты веселились пуще прежнего: «Вот цыганка, знает, кому гадать! Инока нашего облюбовала. А кого еще! Он, кажись, в Бога верит, вот и в самый раз!»

А цыганка не отставала:

– Слушай, парень, не отказывайся – это судьба!

Кто-то из солдат, идущих с краю шеренги, подзадорил цыганку:

– Его Сергием зовут.

– Сергей? Эй, Сергей, дорогой, эй, чернобровый! Я тебе говорю – не отказывайся, Сергей, ты совсем еще молоденький, судьбу твою расскажу! Погадаю от чистого сердца. Все скажу как есть!

Но тут кто-то шумнул на нее:

– А ну не мешайся! Видишь – идем.

– А я не помешаю, ребята, я только гляну на руку, на ходу! – не смутилась она.

– Отвяжись, надоела, не мешай тебе говорят! – пробурчал тот же голос.

Цыганка была не молодая, не старая. И на лице ее, как показалось Сергею, не было обычного плутовства, а наоборот – открытость, участливость, как у сестры его Вероники. Веронике всегда хочется что-то доброе сделать, и нет ей оттого покою. Да, цыганка очень походила на Веронику, скорей всего не глазами, а их выражением, но может, Сергею так показалось, потому что цыганка крикнула: «Я тебе как сестра скажу! Как своему брату!»

И когда она вдруг затерялась в толпе, исчезла из виду, Сергею стало даже не по себе, и в душе он пожалел, что не откликнулся, что как-то оно нехорошо вышло...

Тем временем они вышли к станции, вступали на привокзальную площадь, рота за ротой, взвод за взводом, и загудела, зашумела вокруг толпа... Эшелон был уже на путях, с распахнутыми для посадки теплушками. Длинный состав, конца-края не видно. В этих вагонах предстояло им отбывать на фронт.

Началась предотъездная суета, ротные поясняли, какому взводу какой вагон отвели, солдаты, гремя оружием и котелками, шумно передвигались вдоль состава, а женщины, старики и дети путались под ногами – и набегали новые, прослышавшие про уходящий эшелон, и никакими силами отогнать их нельзя было.

Погрузка длилась довольно долго. В ожидании своей очереди на посадку Сергей совсем забыл уже о цыганке, как вдруг она снова возникла в толпе. Нашла-таки, вот ведь какая настырная оказалась:

– Эй, Сергей! А я за тобой, Сергей! Не отказывайся, парень, послушай меня! Судьба велит тебе погадать на дорогу. Не отказывайся, на войну идешь, судьбу узнаешь.

Сергей даже обрадовался:

– Хорошо! Гадай, если надо, – пристроив вещмешок у ног и забросив винтовку за спину, он с готовностью протянул ей правую ладонь.

Прямо у вагона, перед самой посадкой, в окружении любопытствующих его товарищей и произошло это гадание. Цыганка внимательно разглядывала линии руки, шептала что-то, шевелила губами, покачивала головой:

– Ой, стой! А битва будет великая, невиданная и неслыханная. Ой, судьба, судьба! И только солнце останется не забрызганное кровью, и конь ускачет без седока, – приговаривала она, не обращая ни к кому, и затем добавила,

глянув Сергею в глаза, – была у тебя любовь непонятная. И печаль принесла она тебе, да напрасную. И чистый ты, как бумага неписаная.

Тут раздались смешки окружавших их солдат:

– Ясное дело, втюрился наш «чистый», да не вышло!

– Не вышло! – с наигранным укором вступился за парня другой. – Вам бы только зубы поскалить. А иннок-то наш пострадал, выходит, ни за что! Девка, стало быть, хвостом вильнула и была такова! А он, как был чистый, так и остался!

– Не смотри на них, парень, – отмахнулась цыганка. – Теперь дай левую руку и слушай только меня!

Разглядывая левую ладонь Сергея, цыганка напряглась, примолкла на мгновение и затем торжествующе воскликнула:

– Ты бессмертный! Я так и знала! Сердце мне подсказывало. Вот, видишь, ты бессмертный! У тебя звезда такая! Я как знала! Потому и шла за тобой!

Все зашевелились вокруг. Сергей глупо заулыбался, не зная, как быть – то ли радоваться, то ли посмеяться да благодарственно поклониться для потехи, и хотел было отнять руку, но тут вмешался один солдат. Был у них такой тип, Кузьмин. Занудливый и въедливый мужик, который вечно ко всем придирался, кто да что ни скажет, и поучал других.

– Постой, постой, цыганка, ты что это, дорогая, – решительно покачал он головой. – Ты что-то не в ту степь поскакала. Что значит бессмертный? Ты понимаешь? Да разве может быть кто-нибудь бессмертным? Где это слыхано? Все на земле смертные и только он один бессмертный. Гляди! А мы, между прочим, не куда-нибудь, а на войну едем, и кто знает, кому что достанется – кому пуля, кому нет. Да на фронте сейчас смерть не разбирает, гадай – не гадай. Подряд всех косит. Зачем же нас дурить?

– Я не дую, а судьбу узнаю. А у него звезда бессмертная! На роду написана, – не сдавалась цыганка. И произнесла то, что многие хотели бы услышать, пусть и не совсем понятны были ее слова. – Судьба выше смерти. От судьбы судьба ведется, от смерти ничего не идет. А у парня звезда бессмертная – от судьбы, на роду написано... Звезда у него бессмертная!..

Кузьмин еще долго что-то ворчал, руками размахивал, как на митинге, доказывая нелепость цыганского гадания, и хотя он был прав, солдаты, однако, верили почему-то гадалке. А когда стали забираться в вагон, многие прощались с цыганкой за руку, и она не уходила с перрона до самой отправки и когда поезд тронулся, бежала среди прочих женщин и детей за вагоном, махала Сергею рукой, пока эшелон не исчез из виду...

Осень еще не набрала силу, в теплушках было душно. Сергею совсем не спалось. Колеса стучали во мраке, паровоз подолгу гудел, и от этого звука ныло и тревожно сжималось сердце. На ум Сергею приходила цыганка. Откуда она взялась с ее странными гаданиями? Запомнилась фраза: «И только солнце останется не забрызганное кровью... и конь ускачет без седока...» Что это значило? Непонятно, загадочно. Что это за конь без седока? А звезда бессмертная? Какая такая звезда? Наверно, все это байки... Ну какое отношение звезда имеет к человеку? Звезды сами по себе, люди сами по себе. Но ведь есть судьба? А как может судьба вестись от судьбы?..

Колеса стучали по рельсам. Солдаты лежали вповалку на полках, храпели. Луна то появлялась в проеме дверей, то исчезала в облаках, звезды мелькали над бегущим вдаль поездом...

Сергей удивлялся: как могла цыганка угадать про Наташку-коминтерновку, про то, что письма ей писал, про то, что ничего не вышло. Что она сказала, цыганка эта: напрасная печаль. Значит, и печаль может быть напрасной... Но что ждет их впереди? Как оно будет там, на фронте? Страшно, конечно. Раненые

фронтовики, прибывшие в Саратов, рассказывали о войне. А теперь самому придется увидеть, какая она, война...

Колеса стучали, и сон не шел. И опять подумалось ему, что есть какая-то сила над всеми и над каждым, и, может, зовется она судьбой. И никому не дано остановить или объяснить эту силу. Вот едут они на фронт, на войну – судьба велит. И каждый задумывается: убьют его или не убьют? А от того, кто кого убьет, зависит и кто победит. Всем хочется, чтобы война поскорее закончилась, чтобы голод и холод отступили. А для этого надо воевать, надо убивать, надо победить, чтобы закончить войну...

Сергею припомнилось, как дома отец с матерью спорили об этом. Когда пришла сыну повестка и стали они, обсуждая что к чему, собирать Сергея, мать, присев на краешек стула и прижав руку к груди, вдруг сказала с мольбой: «Серезенька, только не убивай никого, не проливай крови!»

С чего это она? На всю жизнь, наверно, запомнилось, как мать произнесла эти слова, глядя ему в лицо, как будто только что вернулась откуда-то издалека, только что перешагнула порог и сказала то, о чем думала всю дорогу. И он сам, словно бы впервые в жизни, увидел ее, свою мать, увидел неожиданно для себя, какие у нее глаза, уже утратившие былой золотистый блеск, какая она морщинистая лицом, какая она старенькая в своем сатиновом халате и с пуховым платком на плечах. И словно заново увидел он то, что видел всегда, да ускользало от сознания: годы их скитальческой, от нефтепромысла к нефтепромыслу, жизни, себя босоногим мальчишкой, мать, в то время еще русоволосую статную женщину с уложенными на голове косами, ее постоянную озабоченность хлопотами по дому, детьми, их школьными делами, вечным диабетом мужа – всему этому не было конца... И вот, собирая сына в армию, она произнесла эти слова. То, что мать просила никого не убивать на войне, не проливать крови, очень смутило его, и Сергей, неопределенно пожав плечами, пробормотал:

– Ну что ты, мам! К чему об этом. Я же в армии буду, – и чтобы уклониться от разговора, стал перебирать учебники в шкафу. – Мам, у меня тут книги из библиотеки. Я их отложу, пусть Вероника отнесет и сдаст их.

Но разговору суждено было продолжиться, потому что вмешался отец:

– Что значит, не убивай! – воскликнул он возмущенно. – Как это, не убивай, крови не проливай! Вот те на! А куда он уходит-то? Никак, на войну? Ну, ты, мать, скажешь так скажешь, – и стал шарить по столу в поисках курева. Мать вечно убирала папиросы подальше, но отец без махорки, когда волновался, не мог.

– Только не кури, Коля, – обернулась она к мужу, – пожалей себя. Сколько можно!

– Ну да, тут не закуришь, когда ты такое сказанула! Ему ж на фронт идти! А там как?..

– Вот потому и говорю. Пусть Бог рассудит, что я сказала. Все об этом только и твердят – убей, убей! Враги нам смерть несут, мы – им. А как потом жить на свете – одни убийцы останутся на земле? Я понимаю: не убьешь ты – тебя убьют, а убьешь – все равно убийца. А что с Анатолием, – вспомнила она про зятя, – то ли жив, то ли нет, убили его – или сам кого убивает? И Веронике сказать про это боюсь. Так я уж сыну своему выскажу, что на сердце, – и заплакала тихо, сдерживая рыдания, понимая, что не в силах никого переубедить.

– Во-во, – не унимался отец, – ты так рассуждаешь, что дальше некуда. Да тебя за такую агитацию во враги народа запишут и в Сибирь упекут. Тут война идет мировая, кто кого осилит, или мы их, или они нас, а ты – не убий! Думаешь, мне собственного сына не жалко? Или Анатолия нашего? Только как же иначе? Солдат землю свою защищает, у него приказ. И если солдат уничтожит врага, то есть убьет, по приказу, по долгу, это его геройство, и никак не иначе!

Мать молчала, занятая латанием мешка, а отец пустился в воспоминания о своей молодости, когда он, девятнадцати лет от роду, как Сергей нынче, плавал в Первую мировую войну моряком-подводником. И рассуждения его сводились к тому, что уничтожение вражеской живой силы — это главное и верное дело. Вот, к примеру, они на подлодке своей потопили военно-транспортное судно в Балтийском море. Вначале долго шли следом за неприятельским кораблем под водой. А потом дали залп. И все как надо получилось, обе торпеды в борт легли, по самой ватерлинии: вражеское судно загорелось! Они на подлодке ушли вглубь, переждали какое-то время и затем снова поднялись, чтобы наблюдать в перископ за происходящим на поверхности моря. Задрав носовую часть к небу, огромный корабль уже наполовину ушел под воду, а вокруг в отчаянии пытались удержаться на плаву еще не затонувшие люди.

Конечно, картину эту в перископе видели только командир да старшие офицеры!

Когда же командир убедился, что для их лодки нет никакой опасности, он отдал команду на всплытие. А как всплыли, раздалась другая команда: всем наверх, построение. И командир объявил экипажу благодарность за успешное выполнение боевого задания! А враги тонули вокруг, их осталось уже совсем мало. Иные пытались подплыть к лодке, но доплывших офицеры расстреливали, держа наган на вытянутой руке... А море бурлило, время шло к сумеркам, и снова была дана команда на погружение... Вот она, война! На войне побеждает тот, кто убивает! А подводникам пленных брать нельзя: где для них место в лодке? Самим воздуху не достанет... Всегда так было и так будет.

Мать не стала ни спорить, ни возражать. Только головой горестно покачивала. Потом заглянули попрощаться соседи, тетка с племянниками пришла проститься, Вероника прибежала с работы и стала помогать матери по дому, и другие разговоры пошли до самой до полуночи.

Теперь, вспоминая этот разговор, он жалел родителей: и мать, не хотевшую, чтобы он, ее мальчик, кого-то убивал, и отца, думавшего о том, чтобы не убили его сына, и потому призывавшего убивать самому...

Все то, что прежде казалось обыденным, домашним житьем, обретало в памяти иную ценность и щемило болью утраты. Вспоминалась Волга под саратовским нагорьем. Любимые летние места, зеленые островки и сияющая, магическая речная ширь, паруса над ней. Но больше всего в детстве тянуло Сергея к большому железнодорожному мосту над рекой. Мост был на огромной высоте, и стоя внизу, у воды, он часами любовался проходящими над рекой поездами, прислушивался к стуку колес, к гулу стальных пролетов, дрожавших над головой на фоне облаков в небе, и завидовал тем, кто куда-то ехал по мосту над Волгой, в какие-нибудь, как мечталось Сергею, прекрасные страны, описанные в любимых книгах...

И опять почему-то вспоминалось, как в новогоднюю ночь ходили всей семьей, пробираясь в валенках по заснеженному полю, к высоченной трубе с полыхающим нефтефакелом. Живой огонь, живой снег, нескончаемо падающий в зареве огня. Огонь безмолвно пожирает снежинки, а снег все идет и идет, устремляясь к огню, не в силах отстраниться от огня, густо валит... И огонь не гаснет, и снегу нет конца...

И вот едет он на фронт, где предстоит ему убивать или быть убитым. Сергей беззвучно заплакал во тьме, вспомнив мать, отца, сестру Веронику, плакал тихонько, оглядываясь на спящих солдат. Как хотелось снова, взявшись за руки, брести по заснеженному полю к полыхающему в небе ночному огню!

А колеса стучали на стыках и раскачивался вагон. Проносились стороной какие-то полустанки, подслеповато мелькнув в ночи урывками огней. Эшелон, набитый солдатами и оружием, поспешал туда, где предстояло убивать или быть убитым.

Быть или не быть убитым – не зависело от твоей воли, никто не хочет быть убитым и никто не знает, быть ли убитым именно ему. Убивать или нет – дело твоей воли, но на войне – неизбежное дело. И, однако же, как прикажешь себе: убить – не убить?..

...И стучали колеса на стыках: убить-не убить, убить-не убить, убить-не убить...

Постепенно задремывая, со слезами на ресницах, Сергей все пытался представить себе предстоящие бои, и что придется убивать – стреляя в чужого солдата или уничтожая врага в рукопашном бою, чему все лето обучали их на волжском берегу. И вдруг виделось парню, что кто-то убивает его, и Сергей пытался вызвать в своем представлении образ этого врага, фашиста... Но ничего не получалось – не возникал образ чужого солдата. Так же, как трудно было представить по отцовскому рассказу тех, кто тонул возле подводной лодки. Волны захлестывали лица. Их было не разглядеть. А доплывших расстреливали из наганов, и они исчезали в пучине, безмолвно и бесследно...

Колеса стучали на стыках: убить-не убить. Сергей попытался вдруг припомнить немецкие слова, которые учили в школе, но именно этих слов вспомнить не мог и потому не знал, как могли звучать на немецком языке эти же слова: убить – не убить, убить – не убить, убить – не убить...

И мчался поезд во тьме...